

ВОЗРОЖДЕНИЕ

« LA RENAISSANCE »

*Литературно-политическія
тетради*

ТЕТРАДЬ ВОСЬМИДЕСЯТАЯ

Август 1958 года

PARIS

78, av. des Champs-Élysées, (VIII^e).

Tél: ELYsées 06-03.

Литературный дневник

I. — “ОПЫТЫ”

Меня давно просили написать об издающемся в Нью-Йоркѣ под редакціей Ю. П. Иваска русском журналѣ «Опыты». Я обѣщал. Но если я до сих пор обѣщанья не сдержал, то не по моей винѣ. Достать “Опыты” в Парижѣ не то что невозможно, но сопряжено с лишними расходами и с потерей времени, чего я всячески избѣгаю.

Несмотря на неоднократныя просьбы, обращенныя и к редактору и к самой издательницѣ, Маріи Самойловнѣ Цетлиной (которая, по-видимому, тоже избѣгает лишних расходов), мнѣ журнала не посылают. У меня имѣются лишь два первые номера, из которых второй не лишен ни интереса, ни значительности. И вот, чтобы сдержать обѣщанье я об этом втором номерѣ рѣшил написать. По содержанію, думаю, он мало чѣм отличается от послѣдующих. Для читателя же, я имѣю в виду широкій круг, который о существованіи журнала даже не подозревает, совершенно все равно пишу-ли я о первом или о послѣднем номерѣ, тѣм болѣе, что тот, о котором я собираюсь писать не потерял ни интереса, ни актуальности.

Прежде всего, стихи.

Должен сказать, что на мой слух, почти всѣ (моя включительно) — «скучныя пѣсни земли». А от стихов ждешь всегда, даже когда ничего от них не ждешь — “Звуков небес”, то есть — чуда. Словом, стихи — неутолительные. Но к подлинной поэзіи все же ближе, если уж об этих пѣснях говорить — не Адамович, о нѣтъ! и не Присманова, — а, как это ни странно (да, как ни странно) — Померанцев, в котором еще теплятся человѣческія чувства. Из русских зарубежных поэтов, он, может быть всѣх ближе, по манерѣ думать и писать, к поэтам совѣтским. Такая же каша в головѣ, тот же здоровый жизненный инстинкт.

О Ходасевичѣ не говорю, он — особняком. Его стихотвореніе “На смерть Кота Мурра” занимает по праву первое мѣсто. Оно дѣйствительно лучше всѣх.

О, хороши сады за огненной рѣкой,
Гдѣ черни подлой нѣтъ...

И как хорошо, что Ходасевич до наших дней не дожил. Судьба была к нему милостива, переправив его через “огненную рѣку” до войны и... до мира.

Кстати, одно техническое замѣчаніе. Из второго стихотворенія Алехина и бы выткнули зинини, по моему, послѣднія четыре строчки. Стихотвореніе от этого только выиграло бы.

И еще одно замѣчаніе, о Пастуховѣ, его первом стихотвореніи. Уж очень эти двойники надѣли. Пора на себя взглянуть

Спокойно, трезво, без видѣній.
Читатель наконец, устал,
От этих мнимых отраженій,
От двойников и от зеркал.

Но будет о стихах. Перейдем к прозѣ. Вот Зайцев. Глава из книги о Чеховѣ. Книга уже давно вышла, но я дѣлаю вид, что об этом не знаю. Это тѣм болѣе легко, что я ее не читал.

Зайцев, как всегда, пріятен. О Гиппиус он, правда, наговорил вздор, который я опроверг в статьѣ “Неистовая душа” (см. “Возрожденіе” № 47). Что до Чехова, то перевоплотиться в него Зайцеву будет не легко: в самом важном, в отношеніи к религіи, — эти два писателя расходятся. Возможны поэтому “психологическія ошибки”. Но такова судьба всѣх “честных” біографій.

Послѣ смерти Ремизова, Зайцев — послѣдній представитель Великой Русской литературы — этого свыше ста лѣтъ длившагося ослѣпительнаго чуда. Вот когда в самом дѣлѣ чувствуешь и понимаешь, что кончилась Россія Пушкина, Гоголя, Толстого, Достоевскаго, та, к голосу которой прислушивался мір и которая еще вчера призывала к борьбѣ с величайшими в исторіи свободоубійцами.

Нынѣ положеніе измѣнилось. На первом планѣ не Толстой, не Достоевскій, а Чехов. Зайцев написал о нем книгу. Занимался им и Бунин в послѣдніе годы своей жизни. Его именем названо было единственное крупное русское издательство за рубежом. Словом, Чехову сейчас принадлежит вся власть на землѣ и на небѣ. Прав был, видно, Мережковский, утверждавшій, что Достоевскій и Толстой оказались нам не по плечу и что духовные вожди и учителя, “властители дум” русской интеллигенціи — Чехов и Горькій. Но в таком случаѣ, что дѣлать тѣм, кто с большевиками продолжает бороться? Сложить оружіе?

Очень интересен, с зайцевским “Чеховым” сосѣдствующій, “Гоголь” Ремизова, ни на какого другого не похожій.

Ремизов, конечно, прав: «Самое недостоверное исповѣдь человека». Достоверно только “непрямое” высказыванье “гдѣ не может быть ни умолчаній, ни стыдливости, ни рисовки “поднимай выше”. И самое достоверное в таком высказываніи то, что неосознано, что напархивает из ничего, без основанія и безпричинно, а это то самое, что опредѣляется словом “сочинять”.

Но тут — свои опасности, пожалуй, не меньшія, чѣм когда все построено на “прямом высказываніи”, на изученіи одних голых фактов.

Ну что, напримѣр стоит истолковать в желательном для себя смыслѣ какое нибудь случайно вырвавшееся “ах!” или ни к чему не обязывающій неопредѣленный жест, не говоря уже о еле уловимых отбѣсах душевнаго настроенія?

Да, Гоголь Ремизова, “выгнанный из пекла на землю за какое-то доброе дѣло” и вознесенный “на седьмое небо Василя Радаева”, — в русской литературѣ — открытіе. Он в самом дѣлѣ ни на какого другого, ни на Гоголя Мережковского, ни на Гоголя Мопусскаго не похож. Но похож ли он на самого себя — вот вопрос.

“Отбор литературнаго матеріала совершается на наугад, что под руку попало”, справедливо замѣчает Ремизов, рассказывая, как писал Гоголь “Вечера на хуторѣ”... «То же и с воспоминаніем из прочитаннаго: вѣдь лѣзет в голову что-то одно, опредѣленное, а все другое, казалось бы не менѣе интересное, стерлось”.

Трудно себѣ представить, что говоря о героях Гоголя, можно не упомянуть, хотя бы вскользь, о Хлестаковѣ, как это дѣлает Ремизов. И не только Хлестаков, но и не менѣе, чѣм он, для пониманія Гоголя, важный Подколесин — “старается”. За то “лѣзет в голову” Левко из “Майской ночи”, Петр Петрович Пѣтух и какая-то, из “Божьих людей” хлыстовскаго начала, современница Гоголя, Татьяна Ремизова.

Нѣтъ, что-то в Гоголѣ очень важное Ремизов проглядѣл, чѣм-то своим, тоже очень важным, его надѣлил. На самом дѣлѣ Гоголь был и проще и страшнѣе, чѣм это снится Ремизову, но его сон о Гоголѣ — не пустой. О, нѣтъ!

Полная противоположность этому сну — статья Александра Шика “Парижскіе дни Гоголя”. На ней отдыхаешь от ремизовскаго кошмара. Интересно — все, всѣ мелочи, всѣ подробности. И сколько бы их ни было — все мало, хочется еще, кажется, что чего-то самого интереснаго, самого главнаго не узнал, проглядѣл, не понял. Но чѣм больше узнаешь, как Гоголь ѣл, пил, спал, гулял, страдал запором, стоял в театральнх очередях, ходил в Лувр, тѣм он — нереальнѣе, неуловимѣе, фантастичнѣе. Удивительно странное ощущеніе — то же, что частѣ испытываешь, соприкасаясь с такими его, совсѣм не фантастическими, героями, как Чичиков или Хлестаков. Никогда ничего подобнаго не могло бы произойти с Чеховым.

Чтобы покончить с воспоминаніями, слѣдует отмѣтить интересныя и хорошо написанныя “Мелочи о Горьком” Юрія Анненкова, ничего новаго, впрочем, к горьковской легендѣ не прибавляющія, а также воспоминанія о Ходасевичѣ В. Ледницкаго, гдѣ очень много о Ледницком и очень мало о Ходасевичѣ. Но обширное автобіографическое вступленіе охотно Ледницкому прощаешь — он, кстати, перед читателем за него извиняется: оно не только оправдано, а и открывает новый для нас мір — мір русско-польских отношеній, которым в литературных кругах Москвы и Петербурга, мало интересовались и были неправы.

Сказать что либо по поводу статьи В. Вейдле: “Об иллюзорности эстетики и о жизненной полнотѣ искусства” — трудно, потому что ее, при всем желаніи, прочесть невозможно, во всяком случаѣ, до конца. Послѣ двух-трех страниц, а их 22 большого формата — принужден остановиться, будто жуешь вату. Еще немного и задохнешься. Наборщик, умудрившійся эту статью набрать, совершил подвиг.

Но что случилось, как могло выйти из под пера Вейдле нѣчто столь неудобочитаемое?

То ли дѣло добрый старый Степун! Его статья “Кино и тѣмъ” нисколько не менѣе метафизическая, чѣм статья Вейдле, доходит до

среднего читателя. А тема обеих статей, как это, на первый взгляд, ни странно, в сущности — одна. И, может быть, заглавие "Об иллюзорности эстетики" и т. д. к статье Степуна подходит гораздо больше, чем к статье Вейдле. Но Степун не побоялся тему "сливать" и благодаря этому вопрос о кинематографическом искусстве поставил правильно, т. е. поднял его до уровня проблемы религиозной. А те историко-философские выводы, к которым он, в связи с этой проблемой приходит, в достаточной мере свидетельствуют, что избрав "узкий путь", он не только не потерял ничего, но многое приобрел и что скромность и смирение не исключают смелости. А Вейдле, желая, в каком то несправедливом порыве, "объять необъятное" угодился вулкану извергающему вату. Впрочем, язык заплетается, подчас и у Степуна. Например: "...со своим духовным убожеством", вместо "со своим духовным убожеством". Но это лишь оттеняет степуновский шарм.

Что до статьи Ю. Марголина "О лжи", то она интересна и значительна, но отнюдь не как, задуманный автором, философский трактат, серьезной критикой, кстати, не выдерживающий, а со стороны чисто эмоциональной. Важна та сила, с какой Марголин отрицает ложь во всех ее проявлениях. Это почти физиологическое отвращение ко лжи важнее всяких о ней умствований и никакого философского обоснования не требует. Размышлять о лжи, конечно, никому не возбраняется, как вообще не возбраняется размышлять о чем угодно. Но Марголин не прав, утверждая, что до сих пор о лжи мало думали и мало говорили и что философски-обоснованную теорию лжи представить себе нельзя. Напротив, одна из заслуг — и не малая — современной философской мысли в том, что она, методологически правильно и религиозно праведно, трактовать вопрос о лжи, как проблему автономную, отказалась, включив ее в обще-мировую проблему зла. Не ложь, а зло "как океан объемлет шар земной". Но непримиримая борьба автора "Путешествия в страну Зэ-ка" с ложью, этой самой ужасной формой зла, свидетельствует о его исключительной душевной чистоте и неподкупной совести, явлениях, в наши дни, редчайших, пренебрегать которыми было бы непростительной ошибкой.

Что можно сказать о Н. Клюеве больше того, что сказал о нем Ю. Иваск, не считая, конечно, тех фактов из жизни поэта, которые ни его здешним друзьям, ни его критикам, еще неизвестны?

И все таки многое в Клюеве непонятно. Так, например, в некоторых его стихах как будто что-то китайское, — да! И кажется, что Клюев мог бы, с таким же успехом, быть китайским мандарином, с каким он был, или казался, олонекским мужиком. Мысль, может быть, дикая, а, может быть, нет.

Необыкновенная утонченность рисунка Клюевских стихотворений, их почти фарфоровая хрупкость при совершенной внутренней неподвижности — разве это не напоминает Китай, его душу, его искусство?

Но в чем собственно личность Клюева находит свое полное выражение, что для нея наиболее характерно? Фольклор? Хлыстовство? Схоластика? Оставим Китай — вот другой парадокс: Клюевский "Плач о Есенине" поразительно похож на плач Изида об Озирисе, Интархо о Таззе. Гильгамеша об Энгида, — на восточный плач человечества об Адаме. Следовательно фольклор ни при чем, как ни при

чем христианство, ничего общего с Клюевским китайским православием не имеющее. Ну а хлыстовство и схоластика всегда были и будут, последнее особенно. Ничего специфически русского, специфически христианского в них нет. Что же, в таком случае, остается от Клюева? А это — как когда. Иногда — ничего, а иногда чистая поэзия.

В отделе художественной прозы — три имени: Г. Газданов, В. Яновский и неизвестный Д. Лехович.

Газданов из новых русских писателей, начавших свой путь за рубежом, пожалуй, самый талантливый. Он ласков, находчив и есть в нем какое-то приятное "струенье". Тема его рассказа "Княжна Мери", — в сущности, анекдот. Но Газданова это не испугало. Он, как настоящий художник, знает, что "все ново под луной", что душа человека — тайна и что, при творческой воле, никакие банальности, никакие общие места не страшны. Среди своих собратьев, он, может быть, всех ближе к магии — этой редко достижимой, единственной цели всякого подлинного искусства.

Что до рассказа В. Яновского "Записки Современника", то он вызывает противоречивые чувства, как вообще все творчество этого писателя, особенно, за последние годы.

Яновский — определенно талантлив, прекрасно владет языком, имеет вкус и не лишен такта. Но он мог бы достичь в своей области, значительно большего, если бы не его... болтливость. Иначе не могу назвать то, что с ним происходит. Сначала все в его повествовании превосходно, интересно, остроумно, свежо, глубоко, но вдруг — "припадок". Все летит к черту. Ни меры, ни вкуса, ни глубины, сплошное кривляние, гаерство, нестерпимая пошлость. Жаль. Правда жаль. Но самое печальное — это что Яновский свою болтливость явно предпочитает здоровью и свое припадочное состояние принимает за творческий экстаз. А как хорошо, с какой тонкой проницательностью можно бы описать в "Записках Современника" собачьи похороны. Ведь хватило же у Яновского и вкуса и таланта на сцену в Эльзаском трактире, где жандармы ловят "обглода мертвеца".

Все дело в мере, во внутренней дисциплине и хорошо сказал Наполеон: *Tout ce qui est exagéré est insignifiant*.

Рассказ Д. Леховича "Разстрел" лучше бы просто обойти молчанием. Печатать его, в всяком случае, не следовало и, печатая его редакция совершила ошибку. Не потому что рассказ плох, наоборот: — он слишком литературен. Тема же его из числа тех, что никакой литературной обработки не выносит. Единственно приемлемая для нее форма — либо дневник, либо воспоминания. Как пример, можно привести "Рассказ латышского крестьянина, бежавшего из СССР", напечатанный в 34-ом номере "Нового Журнала".

И ошибка эта — не первая. Уже в предыдущем номере был рассказ ("Дроль" И. Савина) приблизительно на ту же тему. Будем надеяться, что в следующем, игра с трупами наконец, прекратится.

В заключение несколько слов об Эрге. Этот таинственный незнакомец, печатающийся, на последних страницах, краткая *Nota bene*, заслуживает лучшей участи — своего места в журнале, а не угла где-то на "задворках". Его замечки как бы дополняют и сочетают, с большим тактом, материал, подчас весьма разношерстный. Так очень кстати

напоминанье Эрге о гоголевских "Ночах на калит" и предисловии к этому напоминанию Вивата из Montaigne "О дружбе". Ни у Ремизова, ни у Шика ничего об этих "ночах" нет и вообще о них упоминали редко. Между тем, из жизни Гоголя их не выкинешь.

Другое, тоже очень важное, напоминание — в предыдущих номерах о беседах, во время немецкой оккупации, в горной деревушке Кабри, на юге Франции, André Gide'a с русским молодым человеком, Борисом Вильде, воодушевившим знаменитого писателя на дело освобождения своей родины.

Эти напоминанья как бы уколы раскаленной иглой. Они будят совесть. Вот почему "Опыты" № 2 не потеряли и еще долго не потеряют для нас свою актуальность.

Владимир Злобин